СПЕЦИФИКА НАРОДНОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ В УСЛОВИЯХ «ВАКУУМА ВЛАСТИ» 1917–1921 ГОДОВ*

УДК 316.754.4 + 304.444

Т.И. ТРОШИНА

Изучая социальное явление, следует учитывать исторический опыт породившего его общества. Формы самоорганизации и способы социального самосохранения, применяемые локальными социумами в условиях ослабления государственного контроля и усиления общественной аномии, представляют интерес и для современной практики. Целью исследования, положенного в основу данной статьи, является рассмотрение форм сохранения внутренней солидарности, применяемых населением северных губерний Европейской России в 1918–1921 годы как реакция на ослабление и изменение контрольных функций государственной власти в условиях революционного безвластия.

Организация социальной жизни в огромной по размерам и слабонаселенной России существенно отличалась от европейской практики, в связи с чем феномен «обычного права» в различных региональных вариантах привлекал и продолжает привлекать внимание как отечественных, так и зарубежных исследователей. [см.: 16, 26, 22, 30]. Даже в настоящее время способы самоорганизации населении на основе обычая не рассматриваются только в этнографическом ракурсе, являясь объектом исследования социологов [например: 12, 27] и специалистов в области юридической антропологии [28].

Отношение к этой стороне народной жизни традиционно варьируется — от признания проявлений «дикости» и сохранения архаичных социальных форм до их идеализации. Выходя за пределы частных проявлений общественных отношений в сохранении «обычного права», которое поддерживалось в дореволюционную эпоху и государством как удобный способ управления населением, проживающем прежде всего в отдаленных населенных пунктах, начинают видеть причину исторического пути России в XX веке. Так, по мнению американского историка Р. Пайпса, существовавшая система способствовала локализации населения, не сформировала переходных форм, и в результате, в условиях революции, когда разрушилась государственная машина, «снизу» не поднялись силы, которые могли бы заполнить возникший «вакуум власти» [18, с. 22].

В рамках историко-антропологического изучения русской революции интерес к формам традиционного социального контроля актуализировался в двух направлениях. Их рассматривают в связи с распространением представлений о справедливости, свойственных организованным на принципах солидарности локальным социумам, на широкие слои населения (нередко приобретая черты революционного насилия) [3, 15, 29]. С другой стороны, интерес к ним возникает при объяснении самосохранительных механизмов, которые были задействованы в локальных социумах, стремившихся к изоляции от внешнего мира [26, 30].

С точки зрения автора статьи, на первом этапе революционного безвластия у населения удаленных от центра районов было стремление создать некий правовой симбиоз, включающий как рудименты «обычного права», так и приобретенные в предшествующий период знания об устройстве власти.

Сформулированную проблему следует рассматривать в широком историческом контексте, включающем как относительно длительный период XVIII–XIX века, когда сформировались и приобрели относительно стабильные формы взаимоотношения народа и государственной власти, так и собственно революционную эпоху, которая оказалась наполненной различными политическими, экономическими, социальными и культурными процессами, создававшими в своей совокупности напряжение в отношениях населения к различным способам подчинения правовым нормам.

Региональный аспект исследуемой проблемы связан с тем, что северные территории Европейской России имели культурно-антропологическую, социально-историческую, политическую и хозяйственно-экономическую специфику. Местному населению были свойственны тесные внутриобщинные связи и менее прочные межобщинные, что усугублялось огромными расстояниями и бездорожьем. В результате, здесь продолжали воспроизводиться

* Статья подготовлена в рамках исследования, поддержанного грантом РГНФ (проект № 10–01–48102 а/С).

традиционные нормы социального контроля, что происходило в условиях одновременного подчинения населения государственным законам и собственным правовым нормам («обычному праву»).

Между властью и жителями отдаленных поселений был достигнут своеобразный консенсус, в результате чего локальные социумы (так будем называть отдельно проживающие и в какой-то степени самоуправляющиеся общины – как сельские, так и городские) передали центральной власти ряд своих прав по выявлению нарушителей закона, по определению степени вины и назначению наказания. Это предполагало не только признание права государства наказывать тех, кто в глазах населения преступником не являлся, но и отказ от традиционных форм наказания (самосудов) в отношении личностей, признаваемых локальным обществом преступниками. Со своей стороны, государство брало на себя обязанность вывести из общества подобных личностей, которые с точки зрения государственного права закона не преступали. С этой целью в различные исторические периоды применялись такие формы, как ссылка и высылка «по наказам обществ», «отдача в солдаты» и проч.

Государство не могло полностью игнорировать традиционные формы социального контроля, с помощью которых можно было сдерживать от проявлений антиобщественного поведения определенную часть потенциальных преступников. С разрешения властей волостные и сельские суды имели право применять традиционные формы наказания, например, телесные, по приговору сельских сходов. В основном «пороли» «за неуплату податей вследствие лености и дурного поведения»; «наказывали иногда телесно и за "распутную и нетрезвую или развратную жизнь", с внушением, "чтобы на будущее время вел жизнь трезвую и нерасточительную, и к хозяйству был радив"». Телесные наказания «иногда применялись в случае краж и нанесения оскорбления действием, а также за появление в общественных местах в пьяном виде и за непристойности» – например, за брань, за "разные скверно-матерные слова и ругательства" [17, с. 499–501].

Унизительные наказания налагались по решению местных органов власти, поэтому и для населения, и для государственной власти имели законную силу. Однако вся чаще встречались случаи жалоб «опороченных» крестьян в официальные органы, поскольку де-юре эта практика входила в противоречие с официальной системой судопроизводства и исполнения наказаний. Опротестовывая наказание, обычно ссылались на предвзятость судей, которых обвиняли в кумовстве, взяточничестве и прочих неблаговидных поступках. Такие жалобы обычно давали начало бесконечным разбирательствам, и в результате волостные суды перестали применять подобные наказания; по крайней мере, с начала XX века сведений об этом в источниках встречается все меньше. Если подобные наказания и осуществлялись, то решение о них принимались на сходах, поскольку предполагалось, что «со всем миром» наказанный судиться не станет, хотя бы из страха перед однообщинниками. Формами давления на потенциального жалобщика могли быть угрозы порчи имущества и даже лишения жизни. Эти угрозы имели вполне реальные основания, поскольку малолюдные и сплоченные общества могли осуществить их по принципу «круговой поруки», маскируя под несчастный случай. В таких обстоятельствах подвергнутый наказанию член общины уже не рисковал обращаться в вышестоящие инстанции.

Подобное групповое давление стало широко применяться уже в начальный период революционной эпохи в России – в 1905–1907 годы. В условиях демонстративных противоправных действий общепринятой стала практика принуждения членов своего коллектива, своей общины к участию в них под угрозами «разрушить дома» или «положить голову под корни дерев» [5].

Органы местного самоуправления, даже выполняя свои судебные функции в рамках «обычного права», чаще применяли одобряемые государственными институтами формы наказания, например, арест. Кроме унижения, такое наказание имело значение штрафа, поскольку работника отрывали от хозяйства. Арест применялся и во время крестьянских волнений – но не столько в качестве наказания, сколько для изоляции отказывающихся от участия в коллективных противоправных действиях лиц, чтобы не дать им возможности сообщить о происходящем властям и вызвать тем самым карательные отряды.

Итак, в начале XX века наблюдалось своеобразное явление: в условиях социальной и культурной модернизации все новые массы людей включались в расширенное общество, а, следовательно, и подчинялись общим законам. При этом в локальных социумах происходили случаи применения традиционных форм наказания, в том числе не одобряемых государственной властью. Поскольку наказания, налагаемые в соответствии с «обычным правом», нередко отменялись вышестоящими инстанциями, они все чаще осуществлялись в форме «самосудов».

Революционная эпоха, в которую население отдельных районов России с той или иной долей активности стало вступать с 1905 года, в значительной степени способствовала ослаблению центральной власти; государственное право уже не могло замещать механизм социального контроля, который к тому времени подвергся

эрозии в результате индивидуализации личности. В этот период происходил рост маргинализации и люмпенизации населения, утрата частью его традиционных ценностей; усиливалась имущественная дифференциация, наметилось общее падение благосостояния населения, усиливалась радикализация всех сторон жизни. Одновременно происходило резкое ослабление социального контроля. На первых порах это выразилось в нарушении «договора» с государством, но внутригруппового конфликта в период Революции 1905–07 годов еще не произошло. Например, проявления правового нигилизма (порубки и поджоги казенных лесов, различные формы пассивного сопротивления распоряжениям властей) происходили коллективно – всей деревней, а на малолюдных северных территориях нередко целой волостью.

Второй пик русской революции пришелся на 1917–1919 годы. С одной стороны, ему предшествовал активный период модернизации, а с другой, он совпал со значительным понижением народного благосостояния, вызванным Первой мировой войной. В результате трагического совмещения этих обстоятельств возник уже внутриобщинный конфликт. Отдаленные поселения, которые в состоянии были поддерживать традиционный порядок с помощью социального контроля, оказались переполнены культурными «отщепенцами». Первой волной стало массовое возвращение осенью 1917 – весной 1918 гг. дезертиров и демобилизованных солдат. Многие из них оказались носителями разрушительных для традиционного общества настроений: произошло наслоение свойственных им в силу возраста, а также солдатского «статуса» проявлений молодежной культуры, распущенности, которой отличалась солдатская масса во время беспорядочной демобилизации 1917-го года, вульгаризированных социалистических идей.

Вторая волна пришлась на 1918–1919 годы: в отвергнувшую когда-то среду стали возвращаться девиантные личности. Ими были не только освобожденные революцией из тюрем, с каторги и ссылки преступные элементы. «Чужими» для живущих в соответствии с традицией общин стали и те, кто продвинулся по социальной лестнице (голод и террор в городах заставил вернуться разбогатевших или перешедших в другие социальные группы благодаря полученному образованию земляков), и те, кто искал «легкого хлеба» на городских фабричных работах.

Общество не готово было справиться с таким количеством социальных отщепенцев, не признающих и даже презирающих «обычное» право. Деревня оказалась буквально наводнена личностями, которые воспринимались как правонарушители и традиционной культурой, и дореволюционным государственным законом. Кроме этого, резкая социальная мобильность, которой подвергались в 1910-е годы большие массы населения (солдаты, рабочие, учащиеся), способствовала ослаблению внутриличностных сдерживающих механизмов, свойственных носителям традиционной культуры, без замены на осознанное подчинение закону. К этому следует добавить резкое обеднение населения на последнем этапе войны, что подталкивало многих людей к воровству необходимого для поддержания их жизнедеятельности. Мотивом такого поведения могло быть и «всплывшее» из подсознания понимание своего права на общественное вспомоществование, признаваемое в традиционной культуре.

Судя по архивным документам и этнографической информации, среди населения отдаленных местностей вплоть до начала XX века продолжали существовать архаичные традиции общественного «прокормления» нуждающихся; были случаи, когда на законные требования вернуть торговцу деньги за взятые в долг продукты, крестьянин, уверенный в своей правоте, оправдывался тем, что «средств для этого не имеет»; встречались коллективные требования раздела продовольственных запасов деревенского торговца, в случае признания общественной потребности в этом. Состояние относительного народного благополучия позволяло обществу к подобным призывам «делиться» относиться вполне благосклонно. Однако Первая мировая война резко понизила уровень благополучия; количество нуждающихся становилось критическим. В условиях беззакония и безнаказанности начавшейся революции социальный контроль перестал быть сдерживающим механизмом, и резкое понижение благосостояния населения способствовало распространению воровства и грабежей [см.: 1, 21]. Для борьбы с такими преступниками в обществах были реанимированы «посрамительные» наказания в виде «вождения» вора по окрестным деревням «на показ», принуждения его к покаянию перед «обществом» и возвращению украденных вещей [см.: 9, л. 3–5; 19, 23]. По отношению к рецидивистам применялись более жесткие меры – коллективные избиения и даже казни по решению схода, при этом «общество» брало на себя все социальные обязательства казненных, включая содержание малых детей и престарелых родителей [см.: 9, л. 10; 10; 11; 13, 23; 25].

Однако грабежи и воровство нередко принимали коллективные формы. На первом этапе революции (в 1917 и первой половине 1918 годов) они выражались в грабежах помещичьих усадеб, насильственном изъятии земли и других материальных ценностей у церкви и монастырей, у торговцев, предпринимателей, зажиточных крестьян. Со стороны такие

действия населения производили впечатление стихийных выплесков, но за ними присутствовала достаточно жесткая организация, построенная на архаичных принципах социальной солидарности, поскольку подобные самоуправства были основаны на «обычном» праве. Уже на первом этапе революционной эпохи современники отмечали у крестьян стремление «оформить бесчинства», производившиеся в деревнях, составлением протоколов [1], на основании которых и осуществлялись различные «насилия» в форме конфискаций (церковного и монастырского имущества, земли, находящейся в собственности у крестьян, имущества и наделов у вышедших в другие селения замуж женщин) и выселения или лишения имущества «примаков», то есть крестьян других обществ, вошедших «на хозяйство» в качестве зятя или усыновленного. Подобные мероприятия осуществлялись «всем миром» (т. е. коллективно). Нередко в них принимали участие представители местной власти и даже священники. Тем самым придавалась легитимность происходящему и осуществлялся определенный контроль за тем, чтобы не происходило «безобразий». Уездная и губернская власть в таких случаях «безмолствовала»: она либо не имела сил противостоять реализации архаичного понимания справедливости, либо видела в подобных массовых проявлениях факты революционных «экспроприаций».

На втором этапе, летом 1918 года, когда имущество «чужих» было переделено, стали возникать конфликты между жителями соседних деревень, а в больших селах — и между общинниками. Последние случаи могли нарушить внутреннюю солидарность, поэтому против них были направлены усилия самого населения. Для наведения «порядка» внутри обществ создавались даже своего рода «карательные отряды». Так, в Тотемском уезде Вологодской губернии «несколько жителей, имена которых местное терроризированное население не называет», получили разрешение сельского схода «производить казни над порочными, по их мнению, лицами общества и тем самым навести порядок» [13].

Нередко непосредственное участие в экзекуциях принимали милиционеры и другие представители власти, которые должны были находиться на страже закона. Так, начальник милиции Сольвычегодского уезда Вологодской губернии обвинялся в том, что коллективные наказания происходили при его молчаливом согласии; он «не только не принял всех зависящих от него мер к предотвращению самосуда в Семеновской волости, а своими словами и действиями способствовал его осуществлению, в результате чего были смерть и массовые истязания» приговоренных к таким наказаниям общим сходом [9, л. 3–5]. Видимо, «на местах» такая форма социальной защиты признавалась справедливой и представителями власти.

На этапе создания местных органов советской власти в каждом районе она оформлялась в зависимости от того, как ее понимало население и активисты. Отдельные местности стремились жить «по-старому», в других было желание максимально точно соблюдать декреты и указы новой власти. Однако разрушение старой государственной машины — а она на нижнем уровне общества разрушалась с большим азартом, чем на верхних [18, с. 22], где ее первоначально пытались лишь перестроить под новые задачи,— привело к возникновению «вакуума» закона. Поэтому даже большевистски настроенные местные власти стремились к определенному законотворчеству, с целью предотвращения самосудов, самоуправства в отношении казенной, общественной или частной собственности, которые нарушали внутриобщинную солидарность и разрывали и без того слабые межобщинные связи. На уровне уездов и даже волостей, не дожидаясь распоряжения «сверху», разрабатывались «кодексы законов», представлявшие собой своего рода сплав «обычного права», сохранившегося в коллективной памяти, и каких-то представлений о том, какой должна быть легитимная власть, по каким законам должно жить население.

В воспоминаниях жителя Борецкой волости Шенкурского уезда Архангельской губернии [7, д. 660], относящихся к 1918 году, констатировалось: «Законов не было, и мы решили ввести свои». Чтобы бороться с проявлениями неодобряемого поведения, вызванными как общим понижением экономического положения населения, так и «наводнением» деревень всевозможным «пришлым людом» и асоциальными личностями, что проявлялось в «кражах, пьянстве, буйстве», была реанимирована практика общеволостных судов, а именно, вместо коллективных судилищ избирался «трибунал», состоящий из трех судей. Однако встал вопрос о формах наказания. Революция акцентировала внимание на «свободе личности», поэтому применять телесные наказания было не в духе времени. Такое веское наказание, как заключение под арест, которое для крестьян было особенно тяжелым, поскольку отвлекало от хозяйственных дел, для «хулиганов» и «буйствующих» было совершенно бесполезным. Поэтому наказания провинившимся применялись «позорящие» — например, «провести по волости с доской "я вор" или "я хулиган"». Одновременно волостной совет решил проблему «вакуума» государственных норм путем выработки собственного «свода законов»,

который легализировал право волостной власти на применение и весьма жестких наказаний. Так, за «контрреволюцию» полагался «расстрел».

Разработанный и принятый членами волостного совета «свод законов» был размножен и разослан по деревням для обсуждения населением. Часть «здравомыслящих» крестьян и духовенство критически отнеслись к некоторым статьям закона, в частности, к «расстрельным». Однако под влиянием исполненных революционным энтузиазмом фронтовиков законы были поддержаны и официально приняты на волостном собрании. О своей инициативе волостной исполком доложил уездному съезду советов, в результате чего и другие волости использовали их опыт, разработав собственные «законы».

В одном из селений Онежского уезда Архангельской губернии в 1918 году «выбирались народные судьи», а поскольку «новых законов не было – сами принимали решения о взысканиях и прочих наказаниях». На общем собрании была утверждена самодеятельная «Временная инструкция до получения установленных законов», которой должны были следовать народные судьи. Например, вводились денежные штрафы за такие виды общественно порицаемых деяний, как «воровство, потрава посевов, уклонение от исправления изгородей, за появление в пьяном виде, за драки» [7, д. 87, л. 27].

Постепенно революционный нигилизм стал подчиняться революционному закону, который оказался более жестким, чем государственные нормы стабильного времени. Однако на отдаленных территориях навести порядок оказалось не так просто. Например, даже в 1919 году, казалось бы, на пике жесткого военного управления, в Пинежском уезде Архангельской губернии комитеты бедноты «расстреливали... по 18 и даже по 20 человек». По словам секретаря уездной парторганизации, «неоднократно приезжали агитаторы из Центра и усматривали в этом преступление <наших> работников..., но уездный исполком и <волостные, сельские> исполкомы считали <такое действие> правильным» [8]. Даже после окончания Гражданской войны были случаи подобных «узаконенных» на местном уровне самосудов; так, губернской власти в последний момент удалось добиться признания незаконным расстрельного приговора врачу, обвиненному в том, что допустил распространение гриппа; нередкими были случаи изгнания и коллективного избиения медиков по решению местных органов власти [6].

И все же, при всей «самодеятельности» местного законотворчества, оно стремилось пресечь самосуды и силовые решения проблем, широко применяемые населением. Если в 1918 году «революционные» власти на местах занимались законотворчеством в условиях отсутствия «новых» законов, то бунтующие крестьяне стремились создать свою, справедливую систему управления и судопроизводства, в противовес «неправильному» управлению большевистской власти. В каждом случае местное сообщество создавало собственную «республику», организовывало власть и занималось законотворчеством. Тщательное исследование документов крестьянских восстаний показывает, что за «стихийностью», которой их участники стремились объяснить следователям происходившее, в действительности присутствовала достаточно строгая организованность и управляемость. И даже дикие, казалось бы, избиения толпой местных милиционеров и советских работников имеют рациональное объяснение. Коллективное наказание носило анонимную форму, поскольку таким образом было принято высказывать общее презрение к однообщинникам, которые, оказавшись «во власти», действовали наперекор обычаю, против общинных интересов. К тому же анонимное, «со спины», избиение не давало наказанному повода испытывать неприязнь к конкретным лицам. Это дает основание предполагать, что основной целью таких реанимированных архаичных форм наказания виновных было не столько наказание, сколько демонстрация с целью сохранения социального мира и порядка.

Жестокие убийства продотрядовцев, то есть «чужих», не подчиняющихся местному «обычаю», также имели демонстрационный характер. Иррациональная, не поддающаяся логическому объяснению жестокость по отношению к продотрядовцам (например, в Никольском уезде Вологодской губернии их убивали, раздробляя головы молотом), осуществлялась по решению схода и официально оформлялась составленными властями «приговорами». Когда прибывали каратели, местного управления даже не покидали свои деревни, будучи уверенными в своей правоте. По-видимому, население считало, что расправами с «грабителями» оно выполняет возложенную на него государством обязанность: так же они когда-то ловили и выдавали властям разбойников, дезертиров, беглых преступников. Видя, что власть ослабела и не в состоянии защитить население от разбойников, крестьяне брали эту миссию на себя. Такое же объяснение можно дать развитию в период Гражданской войны партизанского движения, которое на последнем ее этапе рассматривалось как повстанческое и «белобандитское»: население в условиях опасности, исходящей как от «чужих», так и от соседей, стремившихся «поживиться» за их счет, создавало отряды самообороны. На территориях, где происходили боевые действия, эти отряды нередко втягивались воюющими армиями в свою орбиту.

Концептуализируя заявленную проблему на уровне анализа массовых фактов, извлеченных из разнообразных источников, следует сказать, что экстремальные события революционной эпохи создавали предпосылки для реанимации забытых в условиях новых реалий социальных практик, актуализируя весь предшествующий социальный опыт. Это касается и реакции населения на ослабление карательных и контролирующих функций государства. Несмотря на традиционный для населения российской провинции «правовой нигилизм», утрата защиты со стороны государства в условиях агрессивного внешнего проникновения в изолированные общества и активизации внутренних асоциальных элементов воспринималась негативно. «Вакуум» центральной власти и государственного закона заполнялся с помощью реанимации архаичных форм коллективного выживания, а также путем создания подобия замены утраченным законам и нормам для защиты «революционного порядка» в пределах отдельной волости или уезда. В условиях расширения гражданского конфликта воспитательная сторона социального контроля уступала место дисциплинирующим наказаниям, которые становились все более суровыми.

По мере усиления карательных функций, что в условиях воссоздания государственности приобретало особенно жесткие формы, самосохранительные практики отдельных обществ оказались направлены и против представителей власти. Результатом стала эскалация насилия с обеих сторон.

1. Юза Никольского уезда // Вольный голос Севера. (Вологда). 1918. 12 января.
2. Булдаков В.П. Российские смуты и кризисы: востребованность социальной и правовой антропологии // Россия и современный мир. 2001. № 2. С. 31–47.
3. Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М. : РОССПЭН, 2005.
4. Дикость // Вельская народная газета. 1918. 30 (17) марта.
5. Государственный архив Архангельской области. Личное дело Потылицина А. И. (1939 г.) Архивные копии из дел Первого департамента Министерства юстиции. Л. 27, 30-31.
6. Государственный архив Архангельской области. Ф.236. Оп. 1. Д. 997. Л. 151, 152.
7. Государственный архив Архангельской области. Отдел документов социально-политической истории. Ф. 8660. Оп. 3.
8. Государственный архив Архангельской области. Отдел документов социально-политической истории. Ф. 1. Оп. 1. Д. 27. Л.84 (Стенограмма 1 Архангельской губернской партконференции. Июль 1919 г.)
9. Государственный архив Российской Федерации. Ф. 1005 (Верховный трибунал ВЦИК) Оп. 2 Д. 16 (Переписка с Северо-Двинский трибуналом по кассационным жалобам).
10. Зверский самосуд // Вольный голос Севера (Вологда). 1918. 6 июня.
11. Из Березниковской волости Вологодского уезда // Вольный голос Севера. (Вологда). 1918. 20 июня.
12. Касьянова К. О русском национальном характере. М. : Институт национальной модели экономики, 1994.
13. Корреспонденция // Вольный голос Севера (Вологда). 1918. 6 января.
14. Крестьянское правосудие. Обычное право российского крестьянства в XIX веке – начале XX века. М. : Современные тетради, 2003.
15. Марченя П. П. Массовое правосознание и победа большевизма в России: монография. М., 2005.
16. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII- начало XX вв.) Т. II. СПб, 1999.
17. О наказаниях, налагаемых волостными судами в Архангельской губернии // Известия Архангельского общества изучения Русского Севера. 1913. № 11.
18. Пайпс Р. Три «почему» русской революции. М. : СПб : Феникс, 1996.
19. «Шероховатость» Дмитриевской волости // Красный набат (Вельск Вологодской губернии). 1919. 9 февраля.
20. Поршнева О. С. Крестьяне, рабочие и солдаты России накануне и в годы Первой мировой войны. М., 2004.
21. Право сильного // Север. Народная газета. 1918 г. 27 апреля.
22. Сухова О. А. Десять мифов крестьянского сознания. Очерки истории социальной психологии и менталитета русского крестьянства (конец XIX – начало XX вв.). М. : РОССПЭН, 2008.
23. Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 70. Оп. 3. Д. 542.
24. Самосуд // Северное эхо. (Вологда). 1917 г. 10 ноября.
25. Самосуд // Северное эхо. (Вологда). 1917 г. 28 июня.
26. Случаи воровства и самосудов в Шангальской волости // Вельская народная газета. (Вельск Вологодской губернии). 1918. 20 февраля.
27. Шанин Т. Обычное право в крестьянском сообществе // Общественные науки и современность. 2003. № 1. С. 116–121
28. Шатковская Т. В. Обычное право российских крестьян второй половины XIX начала XX века: монография. Ростов н/Д, 2009.
29. Халтурин А. Н. Правовая культура Русского Севера (социально-философский анализ): автореферат канд. философ. наук. Архангельск, 2009.
30. Engel B. A. Not by Bread Alone: Subsistence Riots in Russia during World War I // Journal of Mordern History – 69. (1970, December). P. 696–721.
31. Figes O. Peasant Russia, Civil War: the Volga countryside in revolution, 1917–1921. London, 2001.
32. Frank S. P. Crime, Cultural Conflict, and Justice in Rural Russia, 1856–1914. Berkeley: University of California Press, 1999.